

СЕМ. РОЗЕНФЕЛЬД



не очень хочется начать с того, что на протяжении многих лет своего знакомства с Алексеем Николаевичем я, как и все, кто хорошо знал Толстого, горячо его любил.

Впервые я увидел Толстого и провел в его обществе целый вечер — в знаменитом ресторане Соколова «Вена», в Петрограде. Для тех, кто не знает, что это за ресторан, небезынтересно будет услышать о нем несколько слов.

Помещался он во втором этаже, на углу улиц Гоголя и Гороховой и был излюбленным местом литераторов, художников, артистов. Все стены его общих залов и кабинетов были увешаны картинами, зарисовками, гравюрами работы самих посетителей с их собственными

подписями. Вперемежку с ними висели дружеские шаржи и карикатуры на жрецов искусства, пользующихся в этих кругах наибольшей популярностью. Тут же красовались окантованные картоны с эпиграммами, стихотворными шутками, экспромтами и цитатами из собственных и чужих произведений, иллюстрированных самими авторами. Здесь можно было увидеть работы настоящих мастеров — превосходные рисунки академика Зарубина, акварельные пейзажи Писемского, этюды углем Крачковского, зарисовки Дубовского и Горбатова. В одном из залов висел пейзаж Бродского, сделанный углем, а чуть подальше — прекрасный портрет самого художника, нарисованный Любимовым. Бросались в глаза небольшие картины таких мастеров, как Маковский, Клевер, Плотников. Были и музыкальные отрывки, романсы, оперные арии, написанные авторами или исполнителями. Обращали на себя внимание надписи: «Смех лучше, чем слезы!», «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно!», «Смех — лучшее в человеке». И снова стихи, пародии, экспромты, каламбуры — их по многу десятков на каждой стене.

Здесь бывало много писателей, и среди них такие, как Чириков, Скиталец, Куприн, Амфитеатров, Муйжель, Аверченко, Юшкевич, Арцыбашев, Найденов, Косоротов, Рыжков; из художников — сатириконицы Радаков, Реми; из артистов — Шаляпин, Ходотов, Орленев, Фигнер, Тартаков, Евтихий Карпов.

Обед здесь стоил недорого в сравнении с другими ресторанами — надежда владельца ресторана Соколова возлагалась не столько на обеды, сколько на горячие напитки, на ночные кутежи в отдельных кабинетах, на многочисленные и многолюдные банкеты, — и человек, желающий дешево пообедать, а заодно поглядеть на знаменитых людей, заходил именно сюда.

Зашел и я. Было мне тогда двадцать три года, я только что вышел из лазарета, где несколько месяцев пролежал после тяжелого ранения на германском фронте.

«Будучи в рассуждении», чего бы поесть — все равно постного или скоромного, поскольку не это являлось основной проблемой, — я подумал, что на мои более чем скромные средства — помнится, было у меня в тот день что-то около одного рубля — я мог бы, собственно говоря,

посидеть в приличном ресторане и съесть, скажем, одно первое и поглотить при этом максимальное количество находящегося на столе хлеба. Это был старый студенческий прием, хорошо изученный мною, когда приходилось поддерживать свое существование по системе однократного суточного питания.

И вот я вошел в «Вену».

Это было одновременно и очень привлекательно и очень мучительно. Привлекательным была необычность атмосферы — все эти картины, гравюры, собрания автографов, изобилие портретов, шаржей, шуточных рисунков, и рядом с ними, тут же живые объекты и сами авторы этих произведений. А мучительным были для меня ароматы хорошей кухни. Ведь я не ел с утра и был очень голоден, а тут наплывали на меня фантастические запахи горячих мясных блюд, дичи, рыбы и каких-то пряных специй.

Я прошел до третьей комнаты — угловой, выходящей окнами на улицу Гоголя и на Гороховую, — везде все столики были заняты, и я остановился в растерянности. Я не мог оставаться, но и уйти ни за что не хотелось. На улице было холодно, сыро, темно, а здесь тепло и уютно.

Да, но мест все-таки не было.

И вот в эту самую минуту, когда мне уже больше неудобно было оставаться и я поневоле отправился к выходу, какой-то человек в длинном сюртуке, очевидно метрдотель, предложил мне:

— Вот, пожалуйста. Господин любезно разрешает присесть.

Мой сосед — полный, крупный, медведеобразный дяденька лет пятидесяти с лицом мясистым, немного багровым, на котором рельефно, как на скульптуре, вырисовывались тугие мышцы щек и подбородка, — любезно подтвердил:

— Пожалуйста.

Я сел, и сразу же, как только увидел, что было поставлено на столе, почувствовал себя убийственно неловко.

— Простите, я помешал вам... — жадно разглядывая розовые ломтики семги, невнятно пролепетал я. — Здесь и так уж тесно.

— Не беспокойтесь, сейчас уберут.

Действительно, кое-что убрали, и официант предложил мне меню. Считая, что я буду долго выбирать, он уже собрался было побежать дальше, но я, видимо от смущения и от голода, увидев первые встретившиеся привлекательные слова «бифштекс по-деревенски», сразу же заказал это блюдо. Возможно, что при этом я громко глотнул слюну, — сосед мой вдруг взглянул на меня, правда, очень сдержанно, корректно, не поднимая головы, но все же с явным любопытством. И тут я, сразу и обрадованный и немало испуганный, узнал в нем... Глазунова.

Я растерялся.

А Глазунов, мудрый человек, прекрасно знающий людей, и особенно молодежь, в одно мгновение понял все. И, видя мое смущение, постарался смягчить его.

— Вы, должно быть, прямо с работы, — проговорил он флегматично, словно засыпая, но одновременно накладывая икру на румяный тостик. — Проголодались.

— Да... — охотно принял я эту версию.

— Так не угодно ли? — и он придвинул ко мне все закуски. — Пожалуйста.

Я смутился и не мог прикоснуться к предложенному.

В эту минуту, распрощавшись за соседним столиком с друзьями, к нам подошел, очевидно вернувшись к своему месту, какой-то человек.

Выше среднего роста, с лицом по-актерски гладко выбритым, круглым и свежесрумяным, с глазами блестящими, весело-молодыми, с длинными темными и густыми волосами, он сразу же показался мне интересным и приятным. Чуть скошенный подбородок делал его моложе действительного возраста, — хоть и всего-то ему было лет тридцать с небольшим, — а золотые очки придавали солидность, и это делало его одновременно и юным и профессорски значительным.

— Познакомьтесь... — предложил Глазунов, — Толстой, Алексей Николаевич... Мой новый знакомый... э-э... начинающий... э-э...

— Литератор... — поневоле преувеличивая, быстро сказал я, чтобы скорее выйти из тягостного положения.

— Очень приятно.

Толстой сел, и Глазунов сразу же пожаловался ему:

— Но вот не ест, хотя, по-моему, голоден как тигр.

— Это потому, что так не угощают, — сразу же что-то

поняв, назидательно заметил Толстой,— а делают это вот так...

И он положил мне тот самый вожделенный ломтик семги, к которому я так жадно приглядывался. И, положив его, стал еще ближе придвигать ко мне все, что было на столе.

— Ешьте, говорю я, иначе мы тут же рассоримся! Да ешьте же, пока я не ударил вас по темени.

И я начал есть.

Я ел много, серьезно, а он подкладывал еще и еще, пока с непривычки я не устал. И когда мне подали мой бифштекс, я понял, что есть его уже не смогу. И тогда Алексей Николаевич стал деловито расспрашивать меня о моей литературной работе. И то, что говорил он со мной как с профессиональным писателем, хотя я сразу же сказал, что, кроме газеты «Уссурийский край», меня нигде не печатали, и то, как горячо возмущался редакторами, отвергающими рассказы начинающих писателей, и то, как энергично он подбадривал меня, убеждая не сдаваться и писать дальше,— все сразу же подкупило меня своим дружелюбием и благожелательством, своим необычным товарищеским теплом.

— А вот проза самого Толстого...— вдруг, словно проснувшись, но все так же флегматично сказал Глазунов, и лицо его неожиданно расплылось в добродушной улыбке.— Посмотрите.

Я поднялся и увидел на стене рисунок и текст, под которыми красовалась подпись Толстого. На рисунке был изображен черт с острыми рожками, с продолговатым свиным рылом, с колючим горбом, с лохматым хвостом, с птичьими ногами и длинными худыми руками. Под чертом, прямо против него, тонким чернильным штрихом был сделан карикатурный портретик самого Толстого в шубе и в цилиндре. А под этим двенадцать строчек: «На Кирпичном эдакий вот черт милостыньку просит.— Что это ты, братец, говорю, не одевши?— Плохи наши дела, не признают-с. Посмотрел я на него, действительно, вижу — черт — голый. Пожалел я его, дал копеечку. А черт, по русскому обычаю,— пырь по соседству в «Вену». Ах ты, гад, думаю я про него, а ноги сами туда же занесли. А мораль пусть выведет каждый. Гр. Алексей Н. Толстой. 22/II 1911 года».

Этот черный мрачно-веселый чертик, держащий в правой руке, как дамы держат шлейф, свой собственный длиннющий шершавый хвост, и автопортретик-кариатура самого Толстого, и шуточный текст — все это нарисовало в моем представлении Алексея Николаевича как человека остроумного, ребячливо-веселого и благодушного.

Когда он слушал что-либо забавное или сам шутил, в темных глазах его, за блестящими стеклами очков, вспыхивали огоньки мальчишеского озорства и танцевали шустрые золотистые бесенята.

Алексей Николаевич сам предложил мне дать ему прочесть что-нибудь из моих рассказов, и когда я сказал, что три из них у меня с собой, в кармане пальто, он согласился сейчас же взять их.

К столику подходили какие-то люди, их становилось все больше, они переговаривались между собой все сразу, и когда я, взглядевшись в человека с большой круглой головой, с крупным скуластым, немного монгольским лицом и маленькой острой бородкой, узнал знакомого по многочисленным портретам Куприна, я встал и уступил ему свое место. Но сел он только тогда, когда я убедил его, что уже давно собрался уйти.

Когда я попытался расплатиться с официантом хотя бы за бифштекс, Алексей Николаевич притянул меня за рукав к себе и шепотом на ухо назидательно сказал:

— Послушайте, вы присели к нашему столику, — значит, вы были нашим гостем. Поняли? Если вы произнесете еще хоть одно слово, я воткну вот эту вилку в ваше баранье темя. Приходите сюда в среду в это же время, я буду публично пороть вас за ваши бездарные стихи.

— Рассказы... — поправляю я.

— Все равно, порка одинаковая, что для поэзии, что для прозы.

Так состоялось мое первое знакомство с Алексеем Николаевичем, сразу раскрывшее его душевную простоту, дружелюбие и отзывчивость.

И в ближайшие дни, когда мы снова встретились с ним, он говорил со мной свыше часа. Внимательно прочитав мои «произведения», он сделал мне ряд серьезных указаний, дал несколько добрых советов и тут же взялся устроить один из рассказов

— Он очень плох,— сказал он, смеясь одними глазами,— и, вероятно, понравится редактору.

И снова я был согрет и добротой и вниманием Толстого, хотя оставался чужим и неизвестным для него человеком.

А потом я долго его не видел. Служба отнимала у меня много времени, кроме того, я учился, и у меня не оставалось и часа для писания.

Дважды я издали наблюдал Алексея Николаевича — один раз на каком-то вечере в Тенишевском училище, но был он там не один, с ним рядом стояли Бунин, Муйжель и какая-то красивая дама, и я не решался подойти к ним; другой раз, тоже на обсуждении книги, Алексей Николаевич, недовольный резкостью критиков, грубо нападавших на молодого автора, встал и с места произнес короткое слово в защиту книги.

— Надо бережно относиться к молодым,— говорил он, делая после каждой фразы внушительную паузу, словно выжидая, пока мысль его прочно войдет в головы критиков.— Увидеть одни недостатки в первой книге писателя легче легкого... Не в этом же наша задача... Надо найти главное и вытащить это главное из-под шелухи профессионального неумения... У нашего начинающего писателя есть хорошие места, а это означает, что он не лишен дарования, что он сможет писать и лучше... И в этом все дело... Поддержать его надо, ободрить, а не бить дубиной по темени, как вы это сейчас делали... Вот один оратор сейчас говорил о том, чего нет в обсуждаемых рассказах...— Толстой вдруг по-настоящему рассердился.— Чепуха это!.. Говорить надо о том, что есть, а не о том, чего нет... В один рассказ всего не втиснешь... Рассказ — эпизод... Но эпизод, как капля воды, может отразить в себе кусок жизни... Кто-то сказал здесь, что автор пишет пустячки... Но пустяков нет... Любая мелочь — жизнь... И Чехова и Мопассана ругали за писание пустяков, а каждый «пустяк» был гранью драгоценного алмаза, в котором жизнь играла всеми красками.

Я слушал Толстого с разинутым ртом. Я старался запомнить каждое его слово. И снова я ушел согретый и обогащенный — согретый сердечным вниманием к начинающему писателю, обогащенный ценными мыслями мастера о литературе.

* * *

А потом я раза два столкнулся с Алексеем Николаевичем уже в двадцатых годах, когда он обосновался в Пушкине, тогда еще Детском Селе.

Чаще я стал встречаться с ним только во Всероссийском Союзе писателей на Фонтанке, затем в Оргкомитете на Караванной и, наконец, в новом, нынешнем Союзе советских писателей на улице Воинова.

Председателем Ленинградского отделения Литературного фонда был в течение нескольких лет прекрасный писатель и чудесный человек Вячеслав Яковлевич Шишков, живший в Детском Селе, неподалеку от своего друга Толстого. Оба писателя относились друг к другу с трогательной нежностью и часто бывали один у другого. И вот в ту пору, часто посещая Вячеслава Яковлевича, — мне выпала честь быть его заместителем по Литфонду, — много раз встречал я у него Алексея Николаевича и также нередко ходил вместе с ним к Толстому. И так как оба были чрезвычайно радушные и гостеприимные хозяева, мы засиживались подолгу, и тогда я имел удовольствие часами слушать и великолепные шутки Шишкова, и удивительно сочные, на редкость колоритные рассказы Толстого, пересыпанные какими-то особенными вкусными словечками, которые он произносил со свойственным ему одному вкусом. Это особенное свойство Толстого произносить отдельные слова и фразы, неподражаемо акцентируя их, нарочито растягивая или даже скандируя и при этом расцвечивая игрой многоцветных интонаций, делало его речь чрезвычайно красочной и завлекательной.

У Алексея Николаевича было, несомненно, актерское дарование, и в живых рассказах его это ощущалось почти всегда, особенно же когда он бывал в ударе.

Я говорил уже о широком гостеприимстве Алексея Николаевича, но выражалось оно далеко не только в щедром угощении, а и в той любезности и обходительности, с которой он принимал гостей, и в простоте обращения, в желании сделать приятное гостю, которые были характерны для него.

Я вспоминаю один из вечеров у Толстого. На обеде

были Шишковы, Шостакович, Зощенко, пианист Нильсен, певица, фамилию которой не помню, и друг Алексея Николаевича нейрохирург профессор Галкин. Было весело, хозяин много шутил, произносил смешные тосты, сочно хохотал в ответ на чью-нибудь удачную шутку, и все это вместе создавало атмосферу доброй, чрезвычайно дружеской компании. А потом в небольшой гостиной был концерт. Алексей Николаевич погасил электричество и зажег свечи в старинных бронзовых канделябрах, и это сразу придало строго подобранной мебели красного дерева, темным итальянским и французским картинам XVIII века и кобальтовым обоям не только теплоту и уют, но и какой-то особенный колорит. Посреди комнаты за двумя маленькими кабинетными роялями Шостакович и Нильсен играли третью часть Пятой симфонии, которую Дмитрий Дмитриевич незадолго перед тем закончил. Потом пианист исполнил несколько произведений Шуберта и Франка, потом пела артистка. И было во всем этом столько истинного очарования, столько заботливой предусмотрительности милых хозяев, что расставаться с ними, несмотря на поздний час, ужасно не хотелось. Уехали мы лишь глубокой ночью в машине, предоставленной Алексеем Николаевичем.

Веселая ребячливость Толстого в кругу друзей и близких была обаятельна. Даже в самый деловой, серьезный разговор он вносил много юмора, делал остроумные замечания или, живая в чью-нибудь сторону, поглядывал на соседей добродушно-хитроватым взглядом смеющихся глаз.

Однажды он предложил Шишкову, Лаганскому и мне послушать его новую пьесу. В столовой был накрыт стол, и мы невольно поглядывали туда. Алексей Николаевич, приготовившись читать и держа уже рукопись в руках, спросил компанию:

— Ну как, кормить вас до или после?

— До!— ответили мы хором.

Но хозяин, делая вид, что серьезно обдумывает вопрос, решил иначе:

— Нет, после.

— Почему?— взмолились мы дружно.— Причина?

— Чтобы были злее.

И он начал читать пьесу.

В перерыве между первым и вторым действием Шишков шепнул мне и Лаганскому:

— Когда я мигну вам, закройте глаза и сделайте вид, что заснули.

По знаку Шишкова мы так и сделали — склонили головы, закрыли глаза и дружно захрапели.

Чтение приостановилось.

Но пока мы сидели с закрытыми глазами, хозяин свернул рукопись трубкой и, быстро поднявшись, с размаху трахнул по голове Шишкова:

— Вот тебе первому, как зачинщику!

Потом, ударив Лаганского, долго гонялся за мной по кабинету, пока не загнал в угол и там нанес свой мстительный удар. После этого, вдоволь нахохотавшись, мы прослушали пьесу до конца.

Здесь заодно хочется рассказать об одном разговоре с Толстым на тему о законах драматургии.

Я спросил Алексея Николаевича, считает ли он обязательным для пьесы сквозной действенный сюжет, то есть необходимы ли в современном сценическом произведении все элементы канонического построения, завязка, развязка, интрига и все прочее, или же вещь может развиваться по законам, скажем, горьковских пьес, названных автором «сцены» («Дачники», «Дети солнца», «Враги» или «Сцены в уездном городе» («Варвары»), или чеховские «Сцены из деревенской жизни» («Дядя Ваня»).

Алексей Николаевич подумал и сказал:

— Нет, конечно, действенный сюжет необходим.

— А можете ли вы пересказать сюжет, скажем, «На дне»?

— Могу.

— Ну вот и попробуйте.

— Пожалуйста... Вот, значит...

Он, очевидно, стал восстанавливать в памяти содержание пьесы и, как всегда, когда он задумывался, проводя ладонью по лицу сверху вниз, медленно начал излагать:

— Ну... вот... значит, подвал... мрак... безысходность... И вдруг в это царство темноты врывается луч солнца... Входит Лука...

И, подумав еще секунду, прибавил:

— Ну, вот и все... Вот вам и сюжет.

— Ну нет, Алексей Николаевич! Во-первых, миф о

том, что Лука — луч солнца, давно развеян. Но сейчас дело не в этом, а в том, что вы изложили содержание или, вернее, идею вещи, но отнюдь не сюжет.

— Да, пожалуй...— согласился Толстой.— Это не сюжет...

И, рассмеявшись, прибавил:

— И вообще, какого черта вы ко мне привязались? Я откуда знаю?

И еще через минутку дал мне совет:

— Если вы задумали пьесу, напишите конец пьесы. Получился конец — садитесь и быстренько припишите все остальное; не получился — бросьте свою затею, пьесы не будет.

Сказал он это полусерьезно-полушутя, но размышляя в это время уже без всяких шуток, и стал излагать свои мысли вслух:

— Жизнь идет вперед, формы меняются... Застывших законов нет... На их место приходят новые... Сюжет «Гамлета» или «Живого трупа» или вьющееся как штопор действие «Фландрии» не мешают создавать «Сцены деревенской жизни» или такую как будто «бездейственную» драму, как «Три сестры»... Все дело в таланте драматурга, в его мастерстве, в идее вещи, в жизненности проблемы и в знании человеческого характера.

Он говорил на эту тему много, с увлечением, и мысли его всегда были не только свежи и любопытны, но и профессионально чрезвычайно содержательны и практически ценны.

Алексей Николаевич был превосходный педагог. Его мысли о литературе хорошо помогали не только молодым авторам, рукописи которых ему приходилось читать, но и писателям, имеющим по нескольку книг. Он никому не навязывал готовых приемов, не говорил с высоты своего авторитета, не предъявлял требований, не «распекал», он только высказывал свои соображения, исходя из собственных знаний и долголетнего опыта большого мастера. Делал он это всегда очень мягко, стараясь не задеть самолюбия чутко настроенного начинающего литератора, и резко обрушивался только тогда, когда уже прочно обосновавшийся в литературе «маститый» самоуверенно защищал свое детище.

Алексей Николаевич был глубоко общественным чело-

веком. И дело не в том только, что он всегда занимал соответствующие посты, что он был членом правления Союза советских писателей, депутатом горсовета, депутатом Верховного Совета СССР, членом конгресса культуры в 1937 году, а в военные годы членом Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских зверств. Прекрасна в нем была та органическая душевная легкость, та естественность, с которой он откликался на любое общественное начинание, на просьбу о помощи, дружеской, творческой или связанной с бытовым устройством, ходатайством или заступничеством. Он откликался активно, энергично — писал, звонил и, если нужно было, сам немедленно ехал куда следовало, просил, доказывал, требовал, добивался. Старуха пенсионерка, обиженная чьим-то бюрократическим отношением в райсобесе; студент, несправедливо лишенный стипендии; отставной заслуженный актер, которому не продлевали договор на аренду дачи; заведующая библиотекой, возмущенная изъятием части библиотечной площади; молодой прозаик, чья рукопись необоснованно отвергнута издательством, — все шли к Алексею Николаевичу, все знали, что он их примет, выслушает и сделает все, что только можно.

Вспоминаю интересный случай, показывающий, как важно при некоторых обстоятельствах вмешательство авторитетного человека и как отзывчив был в этом отношении Алексей Николаевич. Юноша, кончивший десятилетку, держал экзамены в мединститут, но, увы, не дотянул до необходимой средней отметки. Алексей Николаевич, знавший юношу как безусловно способного человека, к тому же весьма склонного к изучению именно медицины, был удивлен и огорчен, но, обдумав, понял, что виной провала была тяжелая усталость юноши, перенесшего перед экзаменами какое-то нервное или эндокринное заболевание. Толстой написал письмо дирекции института, в котором объяснил все обстоятельства дела и выразил сожаление, что из-за печальной случайности не будет обучаться медицине человек, по сути дела имеющий на это безусловное право, и просил, если это возможно, дать юноше переэкзаменовку. Дирекция, обсудив вопрос, решила его положительно. Молодой человек выдержал экзамен, потом успешно учился и окончил институт с отличием. И, кстати говоря, он недавно прекрасно защитил диссер-

тацию и получил ученую степень кандидата медицинских наук.

Вспоминаю еще один интересный случай. Алексей Николаевич сообщил Шишкову и мне о своем переезде в Москву.

Кому-то из нас, не помню, кому именно, а может быть, и всем сразу — так ведь иногда бывает, — пришла в голову мысль перевести аренду на здание, занимаемое Толстым в Пушкине, Литфонду и устроить в нем Дом творчества писателей. Мысль эту Алексей Николаевич горячо подхватил и сейчас же энергично принялся за дело. Вместе с нами и директором Литфонда он ходил в горсовет, в жилотдел, строительные организации, вместе писал заявления, звонил по телефону, хлопотал, сердился и не успокоился, пока окончательно не оформил передачу дома. И долго еще впоследствии, приезжая из Москвы, он с удовольствием осматривал благоустроенный, уютный, удобный для писателей Дом творчества и с юной непосредственностью радовался тому, что был одним из инициаторов и участников его создания. Всякое подлинно большое явление в литературе, в театре, в музыке всегда горячо волновало его и нередко заставляло бурно-восторженно говорить о нем. Он исключительно высоко расценивал дарования Шостаковича и Улановой, и вот, помнится, не было у меня ни одной встречи с ним, чтобы он снова и снова не заговаривал об этих двух замечательнейших художниках нашего времени.

— Читал в «Правде» вашу статью о Гале... — сказал он мне во время декады ленинградских театров в Москве. — Потом очерк в «Литературном современнике» и в газете театра Кирова. Это хорошо, но этого же, черт вас подери, мало! Ничтожно мало!

При этом он всегда по-настоящему сердился, кричал, сверкая глазами:

— О всякой шушере пишете, а вот о таких огромных талантах, как Уланова и Шостакович, статейку-другую тиснете и надолго умолкаете. А ведь о них надо писать большие книги! Толстые тома! Фолианты!

Я уже говорил о чудесном юморе Алексея Николаевича, об его умении от всей души посмеяться. И вот сейчас, восстанавливая в памяти мои встречи с ним, я вспоминаю об одном случае, который привел его в состояние ка-

кого-то необычайного восторженного веселья. Младший сын писателя, Дмитрий, ныне давно уже взрослый, известный композитор,— кстати, поразительно похожий на отца,— а тогда мальчонка лет девяти-десяти, заигрался на улице, и его никак невозможно было загнать домой. На крыльцо вышел сам отец и стал зазывать сына:

— Иди домой, а то выпорю!

Эта угроза произвела на Митю ошеломляющее впечатление. Он был глубоко оскорблен и возмущен. Остановившись против своего дома у ворот городской электростанции, он некоторое время стоял молча, изумленный и негодующий, а потом, глядя прямо в лицо отца, решительно заявил:

— Прошли ваши денечки. Попороли, хватит. Советская власть запрещает бить детей.

— Все равно выпорю! — с трудом сдерживая смех, крикнул отец.

— А я пожалуюсь Калинину, увидишь, что он с тобой делает! Не посмотрит, что ты Толстой!

Алексей Николаевич от смеха согнулся вдвое, нырнул обратно в переднюю, свалился на стул и, сотрясаясь, долго безудержно хохотал. Уставая, он на мгновение умолкал, но сейчас же, завидев Митю в окне, снова взрывался, хохотал и минут пятнадцать не мог успокоиться.

Шутка и смех никогда не оставляли его.

Он любил быструю езду и в своем красном «студебеккере», когда ехал из Пушкина в Ленинград или обратно домой, всегда требовал от водителя прибавить скорость.

— Дай сто!

Но шофер сурово помалкивал и выше шестидесяти не «давал».

— Кто хозяин? Я хозяин или ты хозяин? Давай сто, говорю я!

— Есть сто,— хмуро усмехаясь, отвечал шофер и ничего не прибавлял.

— Эх, чертовы механики...— делая вид, что сердится, жаловался Толстой.— Боятся быстрой езды. То ли дело ямщики! Э-э-эх-х! Пшел! Выносите, залетные!..

Иногда он странно мечтал:

— Через пятьдесят лет машины будут проноситься в воздухе со скоростью одиннадцать тысяч двести километров в час.

Или:

— Через сто лет все улицы будут украшены картинами великих мастеров живописи, а радиостанции будут передавать только симфоническую музыку.

Об искусстве он говорил часто и увлеченно, всегда покоряя слушателя обширными познаниями, тонким вкусом и страстной любовью к предмету.

В феврале или марте сорок второго года, приехав в Куйбышев, Алексей Николаевич попал на репетицию впервые исполняемой Седьмой симфонии Шостаковича, которой дирижировал Самосуд. И тогда же он напечатал в «Правде» восторженную статью,— сейчас же перепечатанную многими нашими и зарубежными газетами,— в которой с большим литературным мастерством раскрыл гуманную идею нового замечательного произведения и с высоким искусством крупного художника слова дал вторую жизнь музыкальным образам глубокой и сложной симфонии Шостаковича.

Статья, помнится, так и называлась: «На репетиции Седьмой симфонии Шостаковича».

Но так же горячо, как он восторгался всем, что действительно прекрасно, он сердился, негодовал, а порою даже грубо бранился, когда говорил о бездарности, о безвкусице, о раздутых именах.

— Нет, вы только послушайте, какие штуки выкамаривает этот знаменитый бас!..— возмущался Толстой, слушая пластинку одного московского певца.— Словно он подавился тугим мячом и никак не может его выплюнуть. Вот, вот, послушайте! Голос как у быка на бойне, а толку никакого — неотесан, как булыжник. Ни плавности, ни певучести, ни фразы, ни смысла — одни резкие толчки, выкрики, клокотание. Не поет, сукин сын, а рыгает, как пьяный протодьякон на именинах.

Говоря об одном преуспевающем композиторе, он так же бушевал:

— Экая подлость! Ведь целиком же, разбойник, спер эту мелодию из старой оперетты! За это же в каталажку сажать надо, руку по локоть отсекай, а он, подлец, ничего, благоденствует. Кого ему бояться? Редакторы или безграмотны, или либеральны, а Союз композиторов в это не вмешивается. Вы представляете себе, что бы сделали со мной или с вами, если бы мы хоть одну фразу

взяли из чужого произведения? А здесь ничего, все шито-крыто. И ведь таких музыкальных бандитов развелось немало! Нет,— свирепо требовал он,— на дыбу их, в колодки, а потом четвертовать!

И вдруг, весело рассмеявшись, он предложил:

— Даю бесплатный совет: начните свой новый роман словами: «Все смешалось в доме Ивановых» или «Мой шуринок самых честных правил...»— посмотрим, что с вами за это сделают.

Гнев его быстро проходил — вот и сейчас он уже ребячливо-весело предлагал одну за другой десятки чуть-чуть переделанных фраз из всем известных произведений, и слушатели вместе с ним смеялись от всей души.

Алексей Николаевич курил трубку, и было у него этих трубок, мне кажется, великое множество — больших и малых, резных и гладких, старых и новых. Но среди них была одна особенно любимая, «заветная», и с ней он никогда не расставался. И, бывало, возился — прочищая специальной ложечкой, висящей, как ключик, в числе прочих приспособлений на стальном колечке, продувая мундштук, смотрел в него на свет, утрамбовывал пальцем табак, раскуривал, пуская клубами дым, а потом тщательно вытряхивал пепел, потом начинал все сначала.

Под эту милую возню ему, очевидно, хорошо думалось, вспоминалось, рассказывалось, и был он в эти минуты спокоен и благодушен.

И вот однажды эта трубка исчезла.

Он думал, что потерял ее, и не находил себе места — тяжело огорчался, сердился то на себя, то почему-то на шофера, то еще на кого-то. Он много раз обыскивал машину и, не находя трубки, снова волновался, страдал, искал, метался.

А трубка в это время лежала у меня на балконе, где накануне мы сидели с Алексеем Николаевичем, на краю ящика с цветами, куда он положил ее, чтобы выпить чашку чая.

И вот трудно передать радость Толстого, когда, обнаружив на следующий день трубку, я позвонил ему и сообщил о находке. Он был поистине счастлив, горячо благодарил меня, спрашивая, что подарить мне, обещая ка-

кую-то редкостную книгу, потом в испуге спросил: «А вы не разыгрываете меня?», потом крикнул: «Еду к вам!»— и через час с четвертью был уже у меня. Он долго, любовно вглядывался в свою игрушку, бережно вытряхивал из нее пепел, мягко набивал табаком, нежно приминал пальцем и, наконец, удобно расположившись в кресле, стал с наслаждением курить. И было ясно, что так упиваться он может только этой трубкой, именно этой, и никакой другой.

Ушел он успокоенный и довольный, словно действительно наконец нашел давно утерянную большую ценность.

* * *

В Москве во время войны, особенно перед концом, мне приходилось обращаться к Толстому по делам эвакуированных и возвращающихся в Ленинград писателей, и Алексей Николаевич, несмотря на свою исключительную занятость, всегда готовно откликался на наши просьбы и делал все необходимое, чтобы помочь литераторам и их семьям.

Кончаю я свои воспоминания тем, с чего начал. Я нежно любил Алексея Николаевича не только как замечательного писателя, как чудесного художника слова, но как редкостно интересного, яркого, острого человека с большою, горячей, истинно гуманной душой. И я глубоко чту его память.